

18+

ВЯЧЕСЛАВ КИКТЕНКО

---

# Памяти близких

Вячеслав Киктенко

**Памяти близких. Сборник эссе**

«Издательские решения»

**Киктенко В.**

Памяти близких. Сборник эссе / В. Киктенко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-517584-7

Книга о поэтах, встреченных мною по жизни, иногда с самой юности. Как знаменитых на всю страну, и даже далеко её пределами, так и о тех, кто не прозвучал в полную силу при жизни, но оставался и остаётся в моём сердце. Открываю их для читателей.

ISBN 978-5-00-517584-7

© Киктенко В.  
© Издательские решения

## Содержание

Валерий Антонов	6
ПЛАЧ	10
Арсений Тарковский	14
«РОГОЖНАЯ ЦАРСКАЯ РИЗА...	14
Николай Тряпкин и ещё...	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Памяти близких Сборник эссе

**Вячеслав Киктенко**

© Вячеслав Киктенко, 2020

ISBN 978-5-0051-7584-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

**Вячеслав Киктенко.**

**Книга воспоминаний «ПАМЯТИ БЛИЗКИХ»**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

Валерий Антонов  
Арсений Тарковский  
ДУГА ТИШИНЫ (Киктенко-Артёмов)  
Ирина Полянская  
Тряпкин и ещё...  
Николай Глазков  
Лев Ошанин (и «Ошаннский краб» – в отрывке)  
Китоврас (Юрий Кузнецов)  
О Гусеве (о стихах Владимира Гусева)  
«Тупик Пименова» (воспоминание о Литинституте)  
Венок Булгакову  
«Шаг тишины» (Юрий Андрианов)  
.....

## Валерий Антонов

Один глаз – ярко-зелёный, другой – голубой. Кудрявая светло-ржаная шевелюра на поистраченной временем и обстоятельствами башке. Хромой, как Байрон, умнящий, как Сократ, неуступчивый, порою до цинизма, как Диоген, – мелкоростый, щупленький, но громогласно басистый кержак, выходец из Бийска, Валерий Александрович Антонов...

Уже гораздо позже другой замечательный поэт Евгений Курдаков (Царствие ему Небесное) мне признавался:

– «Знаешь, когда я зашёл впервые в редакцию журнала «Простор», – в учреждение хотя и творческое, но всё же не лишённое, как всякая контора, неистребимого привкуса бюрократизма, сразу бросилось в глаза вот это – маленький человечек с пышным одуванчиком редющих волос, с огромным лбом и пронзительным взглядом. Этот маленький человечек не терпящим возражения басом отчитывал какого-то, видимо, не шибко состоятельного литератора. Я никогда не бывал там прежде, не знал никого из пяти или шести сотрудников, сидящих за своими столиками в огромной комнате, но сразу понял – «Это – Поэт. Мне – сюда...»

Я пришёл к нему намного раньше, ещё школьником. – Мы с Антоновым жили в Алма-Ате, в отличие от Усть-Каменогорца Курдакова, и ничего, кроме единственного русского журнала «Простор», располагавшегося в роскошном доме Союза писателей Казахстана, тогда не знал. Принёс потрёпанную рукописную тетрадь с чудовищной поэмой «Русь» и несколькими лирическими стихотворениями в конце.

Антонов устало и грустно глянув на меня, пригласил в холл Союза писателей для спокойного разговора. Как у меня билось сердце – не передать. Я же написал великую поэму! Эпопею, можно сказать. И решил показать её миру. Всему миру!..

И сейчас понимаю, что в этой бредятине были оригинальные строки, образы. Помню, особенно гордился тем, что главный герой поэмы – Великий Мамонт – брёл сквозь века, нанизывая на гнутый бивень луны кольца веков... или о всеобщей беде русского народа:

«...есть и ещё властелин твоих судеб,  
Циник, поэт и бунтарь,  
Спиртом зовут его русские люди —  
Царь!»

А в конце, как апофеоз поэмы «Русь», предлагалась грандиозная грёза – а что, если поставить на Красной площади в Москве памятник главной кормилице Руси – Корове!

Антонов разнёс в пух и прах поэму, несмотря на все попутные в ней находки. Разносил он тихо и грустно, видя трагические мальчишечьи глаза, и понимая, что мальчишка этот в сущности хочет создать что-то Великое, и по главной сути родственное ему самому. Но... «Платон мне друг...».

Убитый, уже поднявшись со стула, я хотел было уходить, но какая-то природная злость (или остатки гордыни) напоследок всё же заставила меня пролепетать потерянню:

– «Поэма не получилась... я понял... а стихи?..»

– Какие стихи? – Удивленно спросил мэтр (он тогда казался мне стариком, этот сорокалетний мужчина)

– «Как какие? Лирические. Там, в конце тетради, после поэмы...»

– «А давайте поглядим!..».

И он начал лихорадочно перелистывать потрёпанную тетрадь. Позже я понял (да и сам он потом признавался), что не прочтена им была и половина поэмы, писанной корявым почерком, который я и сам иногда не могу разобрать. Он начал читать, напряжённо вглядываясь в строки, и стало происходить чудо. Из усталого грустного человека словно бы вынырнул совершенно иной. Этот иной был подтянут, азартен, он вдруг начал раскачиваться и кивать головой.

Тут я поневоле вспомнил знаменитого тренера по футболу Лобановского – он так же, следя за игрой, сидя раскачивался, кивал головой сверху вниз, а потом – иногда – свирепел и возмущённо качал ею вправо-влево.

В итоге я, мальчишка старших классов средней школы, был удостоен того, о чём мечтали и маститые литераторы – подборки в крупнейшем, знаменитом на весь Советский Союз журнале, основанном аж в 1933 году. К великому сожалению, журнал угасает ныне, и даже, ходят слухи, вовсе закрыт. Хорошо, если просто на «ремонт», а не навеки...

Я получил за небольшую подборку целых 70 крепких советских рублей! Моя мать, всю жизнь работавшая бухгалтером и получавшая 60 рублей в месяц, недосыпавшая ночей в квартальные и особенно в годовые отчёты (что такое «бухгалтерская копейка», из-за которой надо было пересчитывать всю отчётность, чтобы точно свести баланс – нынешние бухгалтеры вряд ли догадываются) была просто изумлена. А ещё более я сам.

До того я искренне считал, что за публикацию надо платить самому. А как же! Ты несёшь в бессмертие свои чувства, свои мысли, своё имя, в конце концов!..

В конце концов на эти деньги я провёл прекрасный месяц на Иссык-Куле, где было всё: и солнце, и воздух, и вода, и рыбалка, и первый настоящий поцелуй – в духоте и возне фанерного домика на берегу, страсть, задыхание, испарина молодых тел...

Это предыстория. История – сам Антонов.

Молодым, в 50-е годы он без проблем поступил в Литинститут в семинар Ярослава Смелякова. О Смелякове отзывался хорошо. Особенно поразил его рассказ, как на самом первом семинаре, уже порядочно пьяный Смеляков начал знакомство со своими студентами. Время от времени наклонялся, вышаривал «что-то» в портфеле и, спустя минуту, поднимался – заметно повеселевший. Красивая молоденькая девочка в свою очередь звонко читала свои стихи (шла так называемая «шапка по кругу»). Смеляков, уже вновь осоловевший, вдруг прервал её чтение и спросил:

– «Девочка, сколько вам лет?»

– «Восемнадцать!» – гордо выкрикнула комсомолка.

Смеляков помрачнел, загрустил, уронил голову на руки... а потом произнёс трагическое:

– «Боже мой, Боже мой... сколько же вас, девочка, будут е... ть!..»

Через месяц Смелякова уволили из Литинститута. Антонов уволился одновременно с ним. И вовсе не из солидарности, а потому, что стал задыхаться в Москве, в бензине улиц, в толпах людей, в ристалищах самоназванных гениев.

И судьба ему благоволила. Он уехал в Алма-Ату, изумительно чистую и немногочисленную тогда, цветистую, радостную, красно-зелёную (мне казалось так) насквозь пропахшую яблоном, особенно по осени, когда созревают баснословные, чуть не в килограмм весом плоды апорта, а частники жгут по садам осеннюю листву...

И его, молодого, талантливого, презревшего Москву, добровольно ушедшего из семинара одного из знаменитейших поэтов России (до этого Антонов, к счастью, успел окончить журфак), сразу взяли заведующим отдела поэзии в журнал «Простор» – как раз в то время образовалась вакансия. На этом месте он проработал добрых полвека, почти до самой кончины...

И был все эти годы не просто «законодателем моды» в Республике (для Антонова это определение не то что пошлово, – мелковато), но авторитетом в последней инстанции. При всей своей «кержацкости», он был очень тонок, образован, умен.

И по-умному долговиден, чтобы не писать, например, «датские» стихи.

А стишки к многочисленным советским датам писали тогда почти все. Немыслимо было представить газету без стихотворной передовицы к Первомаю и проч. «Датами» не то чтобы кормились, скорей напивались на гонорары от них в кругу таких же «датописцев». Завывали

стихи и взахлёб хвалили друг друга. До сих пор тошнит от выражения «Старик, ты гений!», которое с ностальгией вспоминают «шестидесятники».

Другое дело, что он не терпел никакого «новаторства» в классическом стихе, авангардизма. И зря я ему внушал, что хиленький модернизм и великий русский авангард – вещи абсолютно разные. Противоположные даже.

Он упорно не печатал таких замечательных поэтов, как Александр Соловьёв, Булат Лукбанов, Виктор Мармонтков и ещё, и ещё. Я ему так и говорил за рюмкой-другой: «Валерий Александрович, да у Вас, как у заправского хирурга, и так уже целое кладбище, на кой чёрт его множить и множить ещё?.. Есть разные реки, есть разные птицы, пусть текут и поют как умеют...»

Но он упрямо, с кержацкой неколебимостью твердил: «Рек много, а Волга – одна! Поэтов много, а Твардовский – один!» Мне иногда кажется, что это, чуть ли не слепое следование за Твардовским, во многом сузило его творчество. Гений, как известно, не оставляет школ.

Господи, сколько сумасшедших споров вызвало обсуждение выдающегося, на мой взгляд, лирика Александра Соловьёва! Особенно взбесило многих невинное пейзажное четверостишие:

Поляна  
«В осиянной росянице,  
В потаённой глубине  
Били ландышей копытца  
По серебряной луне»

Некоторые из обсуждавших (да большинство!) восхищались. Соловьёв был счастлив. Наконец-то из городского гения, читавшего стихи в кафешках, поскольку другой аудитории не было, его признал сам Союз писателей!

Не тут-то было.

Слово взял Антонов, и всё кончилось. «Датские» поэты, единственные на ту пору друзья Соловьёва, притихли, ожидая слова Авторитета.

Антонов, с присущей ему железной логикой и убедительностью, басом, «несвойственным маленькому человеку», объяснил, что цветки ландышей ночью повернуты вниз, к земле, а луна в это время наверху. Да и вообще – один абсурд и музыкальное (музыки он отрицать не стал, хватило ума и природного слуха) пустословие есть у Соловьёва в стихах безусловно, но возвращаться к пройденному сто лет назад, в серебряном веке, просто глупо. Учитесь у Твардовского...

Уже потом, сблизившись с Антоновым, как-то идя весенней ночью за бутылкой, я увидел в палисаднике лужу, оставленную майским дождём, а там отражение луны, над которой зависли зубчатые копытца ландышей, и буквально наклонил Антонова к этой луже. Без слов он понял меня. И сказал: «Да, тщеславный дурак я был. Знал же, что это прекрасные стихи. Но, Слава, пойми ты меня – это же „Серебряный век“. На кой хрен он нам нужен, зачем повторяться...»?

А уж такие стишки Соловьёва, вызвавшие у некоторых восторг, вроде:

«...я возле горной речки  
Пиджак на стрекозу  
Повесил, как на плечики,  
И – ни в одном глазу...»

Или:

«...и рвутся, подожжённые с хвоста,  
Желудки бомб с кишками мотоцикла...»

Или:

«...а под глазами синие круги,  
Как два яйца змеиных под травой...» —

Это вообще чушь собачья. – порешила «датская» писательская общественность, легко сдававшаяся перед антоновским авторитетом. О чём он позднее сам сожалел.

Антонов был честный человек, и рвавшееся у него с языка слово «сумасшедший дом» не произнёс. Он знал, что такое карательная медицина в то время.

Позже, когда мы стали близкими друзьями и коллегами по журналу, я иногда едва ли не скотиной называл моего старшего друга Антонова, материл за погубленных поэтов. До этого, ещё работая в издательстве, я всё же пробил первую, хотя и сильно порезанную книжечку Соловьёва.

Мы спокойно говорили обо всём, и во многом сроднились с Антоновым. Он уже не был таким «классическим ортодоксом», и мне иногда удавалось пробить через его отдел поэзии несколько подборок Соловьёва, и Лукбанова, и Мармонтова. И он искренне хвалил того же Соловьёва. Повторяю – искренне!

Умные люди меняются со временем. Он уже и в Твардовском успел к тому времени разглядеть некую однообразность, сухость, и – главное – некие нотки приспособленчества (вынужденного, наверно). Никоим образом не судил классика, но словно бы охладел к нему. Горизонт Антонова расширился, он писал всё лучше, как бы подбираясь, наконец-то, к самому себе, и однажды написал такое:

## ПЛАЧ

Продали задешево, схоронили заживо  
Милого, хорошего, моего, не вашего.  
Уводили из дому, отравляли горькою,  
Хмурого, нечистого возвращали с зорькою.  
Знала я и чуяла, чем всё это кончится,  
Плакала, к врачу вела – вспоминать не хочется.  
Тёртые да битые, вы, как он, не глупые,  
Лавочки сытые, псы золотозубые.  
Что вам все последствия? Попадётся, справитесь.  
От стыда под следствием сроду не удавитесь.  
Чёрные все вороны, но бывают белые...  
Долго жить ворованным не умеют бедные.

Шли года, Антонов старел, и всё чаще у него (не большого ходока в Церковь) звучал мотив:

– «Нет, Слава, хоть я и люблю казахов, и они меня, и я перевёл их видимо-невидимо, и Алма-Ата мне родной, любимый город, а умирать уйду всё же в Сибирь, как почую приближение конца. На свою родимую Бию, откуда и вышел. У Рубцова была Катунь, а у меня – Бия. И знаешь – загорался он вдруг своими, к тому времени уже помутневшими зелёно-голубыми глазами, становившимися в эти мгновения снова яркими – один зелёный огонёк, другой – голубой, как в далёкой юности – я построю там монастырь!..»

– «Валерий Александрович, ну как же ты, хроменький, шупленький, да ещё больной, наверно, перед кончиной, сможешь его построить? Да ещё в одиночку. Ты ведь говорил, что в одиночку думаешь его построить? – каждый раз вопрошал я его, пьяненького, как правило (попивал он всё регулярнее с годами, но стати и ума не терял), как, на какие шиши? Ты же и копейки не скопил за жизнь – всё жене, детям, внукам... ну и себе, конечно – на отпуск души?..»

Кержак яростно бил костлявым кулаком по столу, опрокидывал стакан, тут же спохватывался и горевал – не собрать пролитого – и твердил своё, от которого не отступался:

– «Построю, вот увидишь! И ты ещё ко мне приедешь, помолишься, поживёшь в моём скиту...»

Впрочем, я знал такого же неуступчивого сибиряка (Царствие ему Небесное) Николая Шипилова, прекрасного человека, песенника, прозаика, моего друга, который поклялся: «Построю церковь!» И – незадолго до смерти – построил! Но у него была могучая подпора – его молодая жена, толпы его ценителей, прямо-таки обожателей его творчества, которых он, как апостолов, послал на собрание денег. И сообще построили ведь!

У Антонова не было столько друзей и почитателей на Алтае. Они остались в Казахстане. А он бредил Алтаем, Бией.

Он написал пророческое:

Я в Сибири родился,  
В Сибири умру.  
Сам, почуяв кончину,  
Уйду подобру.  
И потянется в дымные ели за мной  
Всех крушений моих молчаливый конвой:

Два штыка воронёных мне в спину упрут  
Новичок – Вдохновенье,  
И выжига – Труд.  
Будет нюхать табак и сиять галуном  
Самомненье моё  
На Сомненье гнедом.  
И – ни зги... и отстанет возок Трубецкой  
Не с мятежной княгиней,  
С ворчливой тоской...

...но под утро, когда наш разболтанный «Ан»  
Потным рыльцем проткнул над Алтаем туман  
И притопнул на торной дорожке разок,  
И попробовал возле вокзала басок...  
О Сибирь!  
Ворвалась ты в отдраенный люк,  
Как в унылую комнату праздничный друг,  
Первой веткой поймала меня за плечо,  
Первой бабой сказала забытое «чё»,  
Чуйским трактом стрельнула сквозь ягодный бор,  
Рыбьей рябью реки ослепила в упор,  
Куполами взошла за бетонным мостом,  
В тополиных кварталах наметила дом,  
Где еще не устали и помнить и ждать...

О Сибирь!  
Как мне жить захотелось опять!

И всё-таки умер в Сибири. Вот ведь кержак неуступный! Я в то время жил уже в Москве и не знал всех сложностей его последних лет и переезда. Рассказывали потом знакомые, что поехали они, старички, муж с верной подругой-женой не за хорошей жизнью, а от одиночества. В Новосибирске обосновалась младшая дочь (старшая умерла) с детьми. Вот и поехал Антонов не в чаемый Бийск, а в Новосибирск. Там и скончался. Царствие ему Небесное. Построил ли монастырь, не успел ли – не знаю.

Пишу всё это для себя, очень многим обязанного на протяжении всей моей судьбы человеку, прекрасному поэту Антонову. Но не только. Более двадцати миллионов русских осталось за рубежом России. Про всех сказать не могу, но своих собратьев поэтов стараюсь не забывать. И при малейшей возможности вынимаю папку в компьютере под названием «Казахстанцы» и публикую их в Москве, в разных журналах и альманахах.

Мы же братья, братцы мои родные! Страну разорвали политики, но мы же не они, мы же совсем другие! Единое духовное пространство и силовое поле России в нашей жизни всё ещё не разорвано.

И я вот так, по капельке, пытаюсь вытаскивать на свет Божий прекрасных, но неизвестных в столицах русских поэтов. Напоследок познакомлю вас с истинным шедевром русской, якобы «зарубежной» поэзии, которая загнетена политикой и географией, с шедевром Валерия Александровича Антонова.

Колодец

1

Мысль, в слово облеченная, есть ложь,  
Но если похитрее зачерпнёшь  
Ковшом в душе, другой поймёт на деле,  
Как день был жарок, как глоток хорош  
Был из бадьи, где воду била дрожь,  
Как плечи жгло, а губы цепенели.

Как мальчик пил, и девочка потом  
Ловила край бадьи пунцовым ртом,  
Гремела цепь, постукивали зубы;  
Две женщины – в панаме и платке —  
Заботились о каждом их глотке,  
По-матерински ласковы и грубы.

Как долго пил мой бородатый друг  
И, отрываясь, поводил вокруг  
От счастья запотевшими очками;  
Бежала в стёклах цепь миниатюр —  
Заплоты, избы, стайка белых кур  
И сосен хвоя – чёткими пучками.

Напились наши жёны в свой черёд,  
Моя концом платка согрела рот,  
И – две семьи – по знойному заречью  
Вдоль сонных изб, к обрыву и реке,  
И городу, за нею вдалеке,  
Мы от колодца двинулись навстречу.

2

Ну что еще добавить я могу,  
Поклявшись, что ни словом не солгу  
В давно когда-то прожитой картине?  
Как дочь моя и друга русский сын  
Маячили флажками алых спин  
На бледной ленте искрящейся сини?

Как город рисовался через дым  
Кварталами, где был я молодым,  
И церковью, где бабушка венчалась?  
Церквушка белой уточкой плыла,  
Купала в синем небе купола  
И крестиком на тучке отмечалась.

И точно знал я, выйдя на откос  
И всматриваясь в город через плёс,  
О чём мой друг поблескивал очками:  
Он тоже ставил крестики свои  
Над храмами младенческой любви

Средь улочек с глухими тупичками...

А жёны начинали торопить,  
И на мосту просили дети пить,  
И как они, страдаю я от жажды,  
Теперь в воспоминаниях моих  
Ища средь сосен тёмных и густых  
Колодец, мной оставленный однажды...

3

Он возглавлял пахучий солнцепёк,  
Густую тень отбрасывая вбок,  
Он откликался мокрым срубом глухо;  
Бадья в него слетала без труда,  
Сбивала мох, грибы, наросты льда,  
Под свист и ляг неслась, неслась туда,  
Где небо тёмным делала вода,  
И в ней плясала бледная звезда,  
И всплеск почти не долетал до слуха...

\*\*\*

Вернуться бы в ясное детство,  
Поверить в одну справедливость,  
Одну ненавидеть неправду,  
Одной поклоняться любви,  
Зачем головами качали,  
Зачем притворяться учили?  
К чему рассудительный опыт  
Без веры в других и в себя?..

## Арсений Тарковский

### «РОГОЖНАЯ ЦАРСКАЯ РИЗА...»

Средняя Азия – вот что изначально свело и связало нас с Арсением Александровичем Тарковским.

Он как-то спросил меня:

– «Слава, а сколько Вам лет?»

Я удручённо потёр виски и пробормотал:

– «Уже целых двадцать три...»

Тарковский вместе со своим другом, директором фирмы «Мелодия» (вот чем ещё, отметил я, объяснялась его потрясающая фонотека: впервые для меня у писателя книжные стеллажи занимали не книги, а пластинки – классика в основном, да ещё два проигрывателя: один суперсовременный импортный, с алмазной иглой, другой – дореволюционный граммофон для старых пластинок) расхохотались.

Тарковский сказал мне «в утешение» с лёгким юморком:

– «Эх, мне бы поделить свой возраст на ваш. На три...»

А его друг добавил уже более серьезно:

– «Арсюша, да хоть бы две трети такого возраста нам!..»

Хорошо им было смеяться!

Я жил иными измерениями, и назойливо стучало в мозгу маяковское:

«Мир огромив мощью голоса,

Иду красивый, двадцатидвухлетний...»

Этот уже в двадцать два был знаменит и написал своё лучшее, а я и к двадцати трём ничего, кроме нескольких подборок в журнале «Простор», да кучи черновиков в общих клёнчатых тетрадах не имел.

«...если правду сказать, мы все звездолюбцы...».

Не всуе сказано. Мой старший знакомый по Алма-Ате, близкий друг Тарковского рассказывал, что Арсений Александрович возил по всей Средней Азии переносной телескоп. Смотрел ночами на звёзды, изучал Звёздную карту, сверял её со звёздным каталогом. Да что там изучал! Он был влюблён в звёзды. Разве можно без любви написать такое:

«Могучая архитектура ночи!

Рабочий ангел купол повернул,

Вращающийся на древесных кронах,

И обозначились между стволами

Проёмы чёрные, как в старой церкви,

Забытой богом и людьми.

Но там

Взошли мои алмазные Плеяды.

Семь струн привязывает к ним Сапфо

И говорит:

«Взошли мои Плеяды,

А я одна в постели, я одна.

Одна в постели!»

Ниже и левей  
В горячем персиковом блеске встали,  
Как жертва у престола, золотые  
Рога Тельца  
и глаз его, горящий  
Среди Гиад,  
как Ветхого Завета  
Ещё одна скрижаль.  
Проходит время,  
Но – что мне время?  
Я терпелив,  
я подождать могу,  
Пока взойдёт за жертвенным Тельцом  
Немыслимое чудо Ориона,  
Как бабочка безумная, с купелью  
В своих скрипучих проволочных лапках,  
Где были крещены Земля и Солнце.

Я подожду,  
пока в лучах стеклянных  
Сам Сириус —  
с египетской, загробной,  
собачьей головой —  
Взойдёт...»  
(Из стихотворения «Телец, Орион, Большой пёс»)

Такое без любви не пишется, не поётся. Более того – этакое может написать лишь человек наделённый не только огромным даром (это даже лишне говорить), но соизмеряющий себя – обычного двуногого – со всей Вселенной. Не меньше! Одной земли мало. Земля не только кормит, но ведь и погребает. Недаром у Тарковского возникают такие жуткие строки, вообще-то не присущие поэту Света:

«...мать подошла, и в окно заглянула,  
И потянуло землёй из окна...»

Связали нас общие знакомые, писатели старшего возраста из Средней Азии. Я влюбился в поэзию Тарковского по книге «Вестник», вышедшей в 1969 году в издательстве «Советский писатель» тиражом ныне немыслимым для поэтической книги – 20000 экз. Но и этого тогда, в 60-годах, было очень мало. Это была пора стихотворного буйноцвета (Асадов и Евтушенко, к примеру, издавались полумиллионными тиражами), к стихам тянулись все: мальчики, девушки, юноши, пенсионеры... там, иногда, прорывались социальные протесты – вот к ним чаще всего, а не к собственно поэзии, и тянулась публика, уставшая вычитывать в газетах нечто этакое, «между строк». А вот поэтам, собиравшим стадионы, позволялось (в меру, в меру, конечно) говорить более-менее открыто о наболевшем в обществе. Но не Тарковскому. Да ему, «звездолубцу», это и не требовалось. Он, хотя и земной, был настоящим олимпийцем.

«...как раковину мир переполняя,  
Шумит по-олимпийски пустота...»

Всю жизнь он был пронизан иным – и высоким, и глубинным одновременно. К «шестидесятиникам» относился с лёгкой доброжелательной усмешкой. А вот когда стране угрожало что-то действительно серьёзное, страшное, просто шёл и воевал. Был ранен, потерял ногу. Написал несколько замечательных стихотворений о войне. Когда я его спросил:

– «Арсений Александрович, а почему у Вас, у фронтовика, так мало стихотворений о войне?» Он махнул рукой и ответил странно, даже невразумительно, как показалось:

– «А-а, спас на крови...»

Я, в недоумении, попросил растолковать. Он глянул не меня также недоуменно: мол, как современный молодой человек, да ещё поэт, может не понимать таких элементарных вещей.

– «Понимаете, Слава – задумчиво начал он... да всё Вы понимаете! – вдруг раздражённо выкрикнул, чуть ли не вскричал – ну сколько можно спастись на крови, бесконечно писать и писать стихи о войне, где, может быть, и не был вовсе... стихи, как правило, бездарные. Ну, конечно, денежное это дело, карьеру двигает, но...»

Он снова махнул рукой и замолчал. А я вспоминал его пронзительные строки:

«Красный фонарик стоит на снегу,  
Что-то я вспомнить его не могу,  
Может быть, это обрывок бинта,  
Может быть, это листок-сирота...»

Стихи, стихи... Анна Ахматова говорила, что поэту заниматься переводами в творческом расцвете, это всё равно, что есть собственные мозги. Но занимались этим практически все. – Кормиться-то, жить-то надо...

Тарковский стоит здесь особняком. Он нашёл своё: Среднюю Азию, И влюбился в неё, и прожил там долго (с перерывами, конечно, с отъездами в Россию, в Москву, к издателям и родным), влюбился в её поэзию, и его переводы стали классикой.

Сколько же он перевёл! И с какой горечью писал в одном из своих шедевров:

«...Розы сахаринной породы,  
Соловьиная пахлава...  
Ах, восточные переводы,  
Как болит от вас голова!..»

Его переводы – классика. Возможно потому ещё (это лишь моя догадка), что Тарковские – шамхалы Дагестана. Цари. Это царский род. Рассказывали мои старшие товарищи, друзья Тарковского, что старики однажды, когда он приехал в Дагестан поработать над кавказскими переводами, поднесли ему на белом руне серебряную саблю – саблю его деда. И хотя сам Арсений Тарковский по самоопределению считал себя русским (конечно, русская кровь превалировала в нём) и, главное, – русским поэтом, эти древнедагестанские, «царские» ноты постоянно врываются в его стихи:

«...кожу мне холодила рогожная царская риза»...»

«...коса, коса и царь, я нищ наполовину,  
От самого себя ещё не отделён...»

И многое другое в этом роде отыщется, если внимательно под таким углом перечитать весь стихотворный свод Тарковского.

Мы начали переписываться давно, когда я ещё жил в Алма-Ате, учился некоторое время на филфаке КАЗГУ (Казахский Государственный Университет) и проводили там, после заня-

тий, поэтические факультативы под названием «Поэтическая Пятница». Их вела поэтесса и учёный Тамара Михайловна Мадзигон, Царствие ей Небесное. Она написала и – защитила! – в шестидесятые годы первую в стране диссертацию о творчестве Павла Васильева. Что казалось тогда почти невероятным.

«Пятницы» становились всё более и более знамениты, к нам нередко валили «бродячие» поэты со всего города, со своими подругами, как водится.

Время – конец 60-х, начало 70-х. было такое – ярко весеннее, полное сумасбродств и великих надежд. Девушки боготворили поэтов, и статус быть подругой Поэта, а ещё лучше очередной его любовницей было в чести. Похвастаться перед подругами таким статусом – высший шик! Вот уж впрямь: «Я вспомнил время золотое...»

Одно из заседаний (поэтических сборищ) мы решили посвятить творчеству Арсения Тарковского. Списались с ним, задали некоторые вопросы. Он немедля ответил, подробно расшифровал некоторые «тёмные места», которые, наверно, есть у каждого большого поэта. Меня, например, интересовало – что такое река Сугакля из одного раннего, но очень любимого стихотворения Тарковского:

«Река Сугакля уходит в камыш,  
Бумажный кораблик плывёт по реке,  
Ребёнок стоит на песке золотом,  
В руках его яблоко и стрекоза.  
Покрытое радужной сеткой крыло  
Звенит, и бумажный корабль на волнах  
Качается, ветер в песке шелестит,  
И всё навсегда остаётся таким...  
А где стрекоза? Улетела. А где  
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла».

Тарковский на этот вопрос ответил кратко, я даже не понял, где река находится:

«Это река моего детства. Не река, а речка скорее. Не ищите на карте...».

К поэтическому его вечеру я написал работу «Время в лирике Тарковского». Мы, коллективно посоветовавшись, послали ему эту статью. Арсению Александровичу она понравилась. Я не стыжусь говорить это ныне, хотя бы потому, что живя уже в Москве, отнёс её в журнал «Вопросы литературы» покойной Татьяне Бек. Статья ей понравилась, и она стала горячо «пробивать» её через начальство. Но Тарковский был в те годы не то чтобы под запретом, но просто не очень чтим начальством. «Осколок Серебряного века» – примерно так, снисходительно, говорили о нём. И даже в сокращённом виде, после нескольких попыток Татьяны Бек, работа была отвергнута.

Переписка с Тарковским не прерывалась. И когда я приехал в Москву по вызову в Литинститут, где прошёл творческий конкурс (уже давно оставив филфак и несколько лет поработав на производстве экскаваторщиком, сварщиком, проводником поезда, грузчиком в филармонии), первым делом позвонил ему.

Он радостно откликнулся и тут же пригласил к себе в гости, на Садово-Триумфальную. Какой трогательный старик! – он заранее заказал в кулинарии какие-то особые заварные печенки невероятного вкуса. И хотя я сам не большой любитель пирожных, с удовольствием упивал их в его кабинет под чаёк. Я представил как он, на хромо́й (с протезом) ноге шёл, заказывал их, потом снова шёл и нес домой уже готовый заказ... кто теперь способен на такое гостеприимство?

А главное, он показал мне «запретную полочку»! Приставил лесенку к стене и показывал на самый верх, к потолку (а потолки в добротной «сталинке» пятиметровые, если

не больше), порылся там за нишей и вывалил мне на стол груды сокровищ. Почему мне? Не знаю. Могу предположить, что заочно связали нас старые узы со Средней Азией. И, возможно, две моих строчки. Он попросил почитать что-нибудь своё, и в прочитанном его поразили две строчки:

«Как высверк звезды, как весенняя ветка  
Отдельное слово стоит в языке...»

Стихотворение на мой нынешний взгляд слабенькое, почти никакое. Но Тарковского поразило то, чего я сам не предполагал. Он изумлённо выдохнул:

– «Сколько стихов перечитал за жизнь, но вот такого, чтоб отдельное слово стояло в языке, не встречал. Тут какой-то абсурд... абсурд, почему-то становящийся поэзией... это же надо – и звезда, и весенняя ветка стоят в языке!.. – тут он даже высунул язык, и я ужаснулся. Я понял то, чего не понимал сам. Он прочёл совсем иное, чем писал я. Я писал о великорусском языке, но вот эта (счастливая, наверно) неловкость – «отдельное слово стоит в языке» поразила выдавшего виды поэта, знавшего символистов, акмеистов, футуристов, ничевоков. – Не в общем нашем языке, отражённом в словарях, а в личностном, физическом языке стоит слово. Как ветка, как звезда...»

Об отношении к языку любого писателя, особенно поэта не стоит, наверное, говорить, – без языка нет поэта. Но вот случай особый, который хочется здесь рассказать хотя бы потому, что я по случаю оказался единственным свидетелем: в одну из встреч Арсений Александрович попросил меня с оказией доставить в редакцию Алма-Атинского журнала «Простор» рукопись. Он обернул её листками черновиков, один из которых в самолёте развернулся и я прочёл уже знакомые мне по книге «Перед снегом» строки из стихотворения «Кактус»:

«...жажда жизни кору пробивала, —  
И живёт он упрямый, как бык,  
Той же силой, что нам даровала  
И в могилах звучащий язык»

Строки знакомые... но мне показалось, что раньше я читал их в иной редакции. Сверил дома по книге, и точно, там было немного иное:

«...жажда жизни кору пробивала, —  
Он живет во всю ширь своих плеч  
Той же силой, что нам даровала  
И в могилах звучащую речь»

А ведь верно! – «хищный глазомер» (по выражению О. Мандельштама) уточнил здесь очень важное для поэта: ну не может в могилах звучать язык! Вот речь – совсем иное дело. Вспомнить хотя бы знаменитый рассказ Достоевского «Бобок», где из-под могильной земли доносятся вначале смутные «бо-бо-бо...», а потом и более внятная речь. Именно речь, а не язык. Это к разговору об «отдельном» слове, «стоящем» в языке...

А любил он по-настоящему Фёдора Соллогуба (Тетерникова). Не поэтов «Серебряного века», которых просто обожал и с некоторыми даже дружил. Любил – Соллогуба. И – Константина Случевского. Особенно его цикл «Мефистофель». Причём любил цитировать не самое знаменитое из этого цикла «Мефистофель в пространствах», а – «Соборный сторож». Помню, как с улыбкой он цитировал оттуда:

«...ночью, как храм обезлюдует,  
С тряпкой и щёткой обходит!  
Пламя змеится и брызжет  
Там, где рукой он проводит!

Жжёт это пламя покойников...  
Но есть такие могилы,  
Где Мефистофелю-сторожу  
Вызвать огонь не под силу!

В них идиоты опущены,  
Нищие духом отчитаны:  
Точно водой, глупой кротостью  
Эти могилы пропитаны.

Гаснет в воде это пламя!  
Не откачать и не вылить...  
И Мефистофель не может  
Нищенства духом осилить!»

Читая, смотрел на меня и пытался понять – осознаю ли я всю страшную глубину этих строк? Но я в то время ни Библии не читал ещё, нищих духом только слышал...

Со Случевским по известной причине увидеться Тарковскому не довелось. Я попросил рассказать о более знакомых мне поэтах, которых он достал со своей «секретной полочки».

Боже мой, чего там только не было!

«Вёрсты» Марины Цветаевой с нежным посвящением. Красавец Тарковский вообще мало кого из женщин упускал из виду, и с Мариной Цветаевой, несмотря на разницу в возрасте, у него тоже был роман после её возвращения на родину. Вероятно, недолгий. Она уехала в Елабугу, а там...

Где-то в литературных воспоминаниях (боюсь соврать, чьи это были воспоминания, точно помню – писанные женщиной), была фраза: «...и тут в комнату вошёл неправдоподобно красивый Тарковский...». Он и в семьдесят был красив и, видимо, неотразим для женщин, несмотря на лёгкую седину и ампутированную ногу, и всегда – навсегда красив, прекрасен!

Сын его, знаменитый режиссёр Андрей не унаследовал царственной красоты отца, хотя по-своему тоже был красив, интересен, во всяком случае. А сестра Андрея, Марина Тарковская и с годами не растеряла красоты и обаяния отца.

А потом, как из волшебного ларца, посыпалось: ранние книги Ахматовой «Чётки», «Белая стая», другие, все с дарственными надписями. Я только слышал об этих легендарных книгах, в библиотеках не выдавали (да и вряд ли эти библиографические редкости были в обычных библиотеках. Разве что в «Ленинке». Но и там – в спецхранах, без широкого доступа). А тут вся эта роскошь лежала прямо передо мной – ранняя Ахматова, Волошин, Зенкевич, запрещённый Гумилёв... все акмеисты, футуристы, символисты... и все с дарственными надписями.

Я спросил, ошеломлённый: «А правда ли, что Ахматова была такая роковая красавица? Ведь из-за неё стрелялись даже?..». Тарковский слегка поморщился:

– «Да, приняло считать, что она была красавица... но, на мой взгляд, молодая, она была слишком длинна и тоща... как кошка. С годами, располнев, приобрела царственность – и во взгляде, и в жестах. Хоть на медальон помещай...»

Увидев тоненькую, легендарную книжечку «Камень» Мандельштама – потрёпанную, с оборванным уголком обложки, я тут восторженно прочитал вслух:

«Эту книгу мне когда-то  
В коридоре Госиздата

Подарил один поэт,  
Книга порвана, измята,  
И в живых поэта нет.

.....  
Как боялся он пространства  
Коридоров! Постоянства  
Кредиторов! Он, как дар,  
В диком приступе жеманства  
Принимал свой гонорар...»

Не прочитал даже. – Провыл. И спросил, держа в руках эту реликвию 1913 года:

– «Это – про неё, про эту самую книгу?!..»

– «Про неё, именно про неё...»

А потом показал, как самую великую ценность, книжку Соллогуба. Тоже с дарственной надписью. Я только спросил:

– «А когда же Вы успели подписать? Он ведь умер в середине 20-х?»

Вот о Соллогубе Тарковский говорил охотнее, чем о других, даже высоко чтимых им. Видимо, некая мистическая струна связывала двух поэтов. Их души, точнее. Ибо сами стихи Тарковского почти лишены какой-либо отчётливо мистической ноты. Ни «навях чар», ни звезды Маир там не найти. Но – пути Господни неисповедимы.

Большие поэты всегда странны. Каждый по-своему. И вкусы у них странные. Неординарные, во всяком случае. Анатолий Геннадиевич Сендык, поэт, переводчик, многолетний сиделец ГУЛАГа, также накрепко связанный со Средней Азией, также через моих старших друзей ставший моим знакомым, старшим наставником и советчиком в делах внутрилитературных, почему-то посчитавший своим долгом, хотя бы на первых порах, опекать меня в Москве, ещё мало знакомой мне, хорошо знал Тарковского, и высоко ценил его. Я спросил как-то у него:

– «Понимаю, вопрос простоват... если не глуповат даже. Но вот чем Тарковский выше других современных поэтов? Ну, допустим, Давида Самойлова?»

Сендык немного подумал, и не без юмора ответил:

– «Знаете, такие стихи, как у Самойлова – не сочтите за нескромность – я, поднапрягшись и освободившись от переводов, мне кажется, мог бы написать сам. Хотя, конечно, это поэт самой высокой планки... а вот Тарковский – вне планок... и потом, простая, казалось бы, штука, но это единственный из московских поэтов, при входе которого в Дубовый Зал ЦДЛ (что нечасто бывает), все другие поэты встают и почтительно с ним раскланиваются. Тут сразу понимаешь – вошёл Поэт Номер Один!..»

Впрочем, это отступление. Хотя и необходимое, я думаю.

...мы сидели с Тарковским и его товарищем уже добрых два часа, слушали «Бранденбургские концерты» Баха, и они наливали друг другу из колбочки, схороненной под диваном, – видимо, от жены Тарковского, Татьяны Озерской-Тарковской. Наливали в небольшие рюмочки – то ли спирт, то ли водку. Я не пил, не знаю что это было. Скорее всего, медицинский спирт, настоенный на оранжевых мандариновых корочках. О Соллогубе он говорил охотно, более охотно и пространно, чем обо всех других знаменитостях, встреченных в жизни.

Он рассказал, как, увидев афишу о вечере пролетарских поэтов, изумился приписке в конце: «На вечере также выступит старый, заслуженный литератор Ф. Соллогуб». Это, в общем-то, объяснимо. Соллогуб, в отличие от того же Гумилёва, к примеру, был абсолютно индифферентен не только к власти, но после мистической гибели его любимой жены и ко всему вообще. Он был неопасен для партии и комсомола. Ему посулили партийный паёк, заехали за ним на машине и посадили в первый ряд два активных комсомольца.

Юный Тарковский предусмотрительно захватил любимую книгу стихов Соллогуба и постарался устроиться недалеко от него, чтобы, не дай Бог, не пропустить момента, когда можно будет сунуться с открытой книгой и просьбой её подписать.

Вечер шёл бодро. Читались стихи. Тарковский назвал их отвратительными. Ходасевич же, ведший одно время кружок комсомольских поэтов, наоборот поражался дикой талантливости неотёсанных молодых сочинителей. Понять можно и так: Ходасевич работал за паёк, Тарковский не мог дожидаться выступления любимого Соллогуба. Не будем гадать и судить классиков. Главное началось в конце.

Два бодрых комсомольца под руки возвели, наконец, Соллогуба к трибуне, налили воды из графина, один из вожаков пролепетал что-то невнятное о значении Соллогуба и прибавил в конце:

– «Может быть, Вы оцените стихи наших кружковцев... или просто почитаете?..»

Соллогуб молчал, и комсомолец удалился. В зале воцарилась тишина. Он стоял, опершись локтями о трибуну и – молчал.

Молчал минуту. Другую. Третью... молчал и вглядывался в зал...

И – наконец – загробным голосом провещал незабвенное. Тихо и скорбно:

– «Да-да... помню, помню... пять тысяч лет назад в Египте я выступал перед собранием жрецов... и зал был похожий, амфитеатром... и передо мной сидели точно такие же идиоты...»

Комсомольцы сообразили быстро. Они вскочили и с двух сторон, быстро-быстро подхватив старика под локти, увели его за кулисы. Тарковский не растерялся. Он кинулся за ними, и уже на улице, прямо перед усаживанием Соллогуба в авто, протянул ему книгу. И получил-таки драгоценную подпись.

Старика не казнили, не «пропесочивали» в прессе. Совсем нет. Ему даже выдали обещанный паёк (зоркий молодой Тарковский успел углядеть и это), отвезли домой. Соллогуб умер сам, довольно скоро, – от горя и одиночества. Его любимая страна канула в небытие, любимая жена утонула, все задуманные книги были уже, наверно, написаны, и делать на этой земле ему было нечего...

Потом приехал Андрей Тарковский и меня пригласили в Дом кино на обсуждение фильма «Зеркало», в машине было свободное место. Я спросил, а будет ли показан сам фильм, который ещё не выходил на экран, ходили только легенды о нём. И узнав, что будет лишь обсуждение критиков, разочарованно отказался. Чего, в самом деле, слушать про то, чего не видел? Мне друзья говорили потом, что я сделал большую глупость, что такую честь оказывают далеко не каждому...

Но мне тогда был интересен именно Арсений Тарковский, а не его сын, пусть даже трижды гениальный. Я уже прекрасно понимал, что вся поэтика его фильмов вышла из стихов отца, а музыка из его же фонотеки.

Но не об этом речь. Я, пусть задним числом, хочу попросить прощения у Арсения Александровича (Царствие ему Небесное) за бестактность (или – неловкость? Или – грубость) по отношению к немолодому всё-таки человеку. Мы потом встречались ещё не раз, и не два, он радушно приглашал в гости, иногда я приходил. А чаще – нет. Студенческая жизнь так увлекла, завертела, что я постыдно пренебрегал великим поэтом ради общения со сверстниками. По осени привозил ему великолепные алматинские яблоки Апорт, и он, как ребёнок, радовался им, вертел в руке громадные плоды, показывал жене, гостям...

Но всё равно мне было дико стыдно за тот давний поступок, и я молчал о нём.

Дело в том, что ещё при первой встрече он спросил кто набирает наш поэтический семинар? Я сказал, что Лев Иванович Ошанин. Тарковский немного помялся, мол, мы не очень близкие люди, но встречались и на фронте, и теперь иногда, так что...

И – достав записную книжку, стал набирать номер. Я, подозревая нечто ужасное для меня, полного гордыни, спросил – «А кому Вы звоните, Арсений Александрович?»

– «Как кому? Льву, конечно».

– «А зачем?»

– «Протекцию, так сказать, составлю Вам...»

Мне очень не понравился этот юмор. И я взмолился:

– «Арсений Александрович, не делайте этого, пожалуйста...»

– «Да чепуха, не обращайтесь внимания, дело свойское...»

И тут я чуть не закричал:

– «Не нужно мне этих свойских дел, я не для этого к Вам пришёл!..» и – грубо вырвал трубку из его рук.

Тарковский был не то удивлён, не то оскорблён, не то просто обижен. Я, дабы сгладить по возможности ситуацию, стал умолять его, что-то объяснять. Мне было важно пробиться сквозь все конкурсы и экзамены самому, только самому, без протекций, даже таких, как слово любимого мной поэта. И он, кажется, понял. Вот в это самое время и нагрязнул его «музыкальный» друг, и рюмочки с мандариновыми корочками сгладили ситуацию.

И всё же теперь, через сорок лет, я прошу у вас, дорогой Арсений Александрович, прощения. Это моё признание в любви к Вам, и одновременно слово прощения. Но – не прощания. Впереди – вечность, как говорил другой, не очень Вами любимый классик, футурист.

## Николай Тряпкин и ещё...

Несколько человек из писательской братии особенно выделялись на фоне шумных соборниц в знаменитом клубе писателей – ЦДЛ. (Для несведущих – Центральный Дом Литераторов на улице Герцена, а теперь, после переименования, на Большой Никитской). Я имею в виду лучшие годы этого невероятного заведения – 70-е, 80-е, 90-е годы, то есть именно те, когда я бывал посетителем этого милейшего шалманчика.

Конечно, это был уже не тот, знаменитый по Булгакову «Грибоедов», находившийся в другом месте, но всё равно, тот же советский клуб писателей, где «оттягивались» труженики пера, а вместе с ними околотитературные, нередко очень странные люди – по полной программе, до закрытия, и позже. Ещё бы! – Кухня была знаменита по всей Москве.

Официантки, хорошо зная свой контингент, продлевали время закрытия до часу ночи, а то и позже. Покрикивали, впрочем, на загулявших завсегдатаев, что заведение закрывается, что милицию позовут, выключали свет, грозились невесть чем...

Завсегдатаи прекрасно знали, что официантки в доску свои, и что пока родимые писатели яростно и нетрезво не доспорят, пока не допьют последнее, не уйдут. Да и любили они, официантки, хозяйки бара, своих «гостей», этих странных бедолаг-сочинителей, как, наверное, домашняя собака любит и прощает порой нерадивого, припозднившегося хозяина...

Среди кричаще пёстрого сборища явно выделялись (для меня, во всяком случае) несколько: среди них Николай Тряпкин, Николай Глазков, Юрий Домбровский. С Глазковым мне познакомиться не довелось, к сожалению, хотя возможности были. Мои старшие товарищи (некоторые из них сидели в лагере, и если не были диссидентами, со всеми литераторами, так или иначе «обиженными» Советской властью, были хорошо знакомы), не удосужились познакомиться меня с ним. Впрочем, «Летающего мужика» из фильма Тарковского «Андрей Рублёв» знали все. Но здесь, за столиком ЦДЛ он, разумеется, таким «мужиком» не был. Шёл литературный спор, стихи перемежались выкриками, невнятными и нелепыми – так казалось. Возможно, казалось лишь по причине отдалённости от спорящих.

Глазков был резок, бурен в споре, размашист и – в то же время – отстранён от всех, неотсюден. Так мне так увиделось... увиделось, увы, лишь из-за соседнего столика. Да и не был я тогда, студент, увлечённый более всего самим собою, таким уж любителем его стихов. Хотя и знал кое-что из его творчества. Оценил гораздо позднее.

Про Юрия Домбровского, волею судеб оказавшегося в некоторой степени моим земляком (он был Хранителем Древностей в Кафедральном Вознесенском Соборе, в моей родной Алма-Ате, о чём и написал свой лучший, на мой взгляд, роман с одноименным названием «Хранитель Древностей»), я также не был лично знаком, хотя и бывал у него дома, где меня с моими земляками радушно принимала его жена Клара Турумова. Сам Юрий Домбровский был тогда, к сожалению, в отъезде.

Поразили в доме у него картины гениального алмаатинца, скульптора и художника Махова, трагически рано погибшего, а также великого Калмыкова («Председателя Земли и Вселенной» – по самоопределению), который теперь хорошо известен, несмотря на то, что многое его картины писались без заргунтовки холста, и быстро осыпались. Нищий он был, денег на заргунтовку не всегда хватало, писал на чём придётся...

А ещё запомнились деревянные скульптуры Иткинда, вывезенные лично Домбровским в Москву из Алма-Аты, где они, после запрета его выставки, были просто выброшены во двор галереи, и там догнивали под дождём. Возможно, несколько скульптур в доме Домбровского – это почти всё, что осталось от Иткинда. Впрочем, точно сказать не могу, может, кто-то ещё подобрал и сохранил.

Но более всего поразили деревянные оконницы, ставни с глухой резьбой, стоявшие у стены. Юрий Осипович, как настоящий – навсегда, по призванию, а не только по должности – Хранитель Древностей нашёл в себе силы при переезде в Москву вытащить их из приговорённого к сносу великолепного зенковского, чисто верненского дома и довести их до столицы. Город Алма-Ата (ныне Алматы – в переводе с казахского – Яблочное, что по сути вернее красивого, но несообразного названия Алма-Ата – Отец Яблок. Какой у яблок отец? Название Яблочное исконно точнее. Просто Яблочное место, обозначавшее обширные предгорья, заросшие мелким, кислым дичком-самосевом, из которого при скрещении с также мелким апортиком, которое сюда привёз переселенец из Воронежа селекционер Егор Редько, взорвалось гигантское, под килограмм – самое знаменитое в мире яблоко! – Апорт) с 1853 до 1924 года был казачьей крепостью, позднее уже городом Верный. И выдающийся, не оценённый и поныне архитектор Андрей Матвеевич Зенков сумел за короткий срок создать свой, нигде, кроме Семиречья не повторённый стиль. Это требует отдельной статьи, здесь же вкратце скажем лишь главное: все его дома строились на очень высоком каменном фундаменте, а сами дома по всему периметру окапывались глубокими траншеями, которые потом засыпались рыхлой землёй. Эти-то рвы и перехватывали горизонтальные волны землетрясений. И ни один зенковский дом не пострадал в страшном землетрясении 1910 года, тогда как весь остальной город лежал, в лучшем случае, – вповалку. Да, от вертикальных – снизу – волн землетрясения эти рвы не спасут, разве только смягчат разрушительную силу, но уж от горизонтальных волн спасали... и ещё спасут, я думаю. Почему этот опыт не востребован ныне, во всех странах мира, – загадка для меня.

Много легенд ходило о Юрии Домбровском. Он сидел почти при всех властях, был неприим, ценил только подлинное, и очень хорошо понимал, что навеяно временем... не временем даже, но указаниями сверху. Ценил единственно то, что идёт из глубины художника, из самого сокровенного. За что и хлебнул от власти. Писал и прозу, и стихи, и занимательные очерки о людях и природе края, занимался археологией, был человеком широчайших интересов.

Запомнилось несколько легенд о нём. Впрочем, легенд ли? Мой старший друг, прекрасный поэт Валерий Антонов, ныне покойный, как-то рассказал:

«Сидим с ним в кафе, выпиваем... Юрий Осипович, только отмотавший очередной срок, попросил прочесть что-нибудь своё. Я почитал последние стихи. Он похвалил. Потом задумался и говорит: «Стихи хорошие... но где в них о том, как вот мы с тобой сидим друг напротив друга и беседуем по душам?... Где – ты? Где – я?»

Антонов не понял, переспросил. Домбровский только махнул рукой и заключил: а вообще-то запомните, молодой человек, запомните на всю жизнь, и не считите это старческим назиданием или брюзжанием. Подумайте на досуге, крепко подумайте: «У каждого стихотворения должно быть, как минимум: Начало. Середина. Конец. О таланте не говорю, никто не знает, что это такое... да без таланта вообще нет смысла писать и говорить. А вот эти три вещи – запомните»!..»

Это – быль. А вот – не то быль, не то легенда: как-то в том же ЦДЛ идут по узенькому коридору подвыпившие Александр Межиров с товарищем в обнимку, а навстречу им ещё более выпивший Домбровский с друзьями. Проём узенький, разойтись – никак. И тогда Домбровский во всю глотку рявкнул автору знаменитого стихотворения «Коммунисты, вперёд»...» и его товарищу: «Коммунисты – наз-зад!..»

А был Домбровский костист, высок, могуч, несмотря на страшные лагерные годы. Стоит только вспомнить его знаменитое стихотворение «Меня убить хотели эти суки...», где он один, сидя на бочке в лагерном бараке и вооружась лишь топором, вкруговую смог отбиться от своры бандитов, стоит только вспомнить, как сразу же станет ясна диспозиция: узкий коридорчик,

две выпившие компании, крик «Коммунисты – наз-зад!..». Конечно, «коммунисты» отступили за буфетные занавески...

Справедливости ради, надо отметить, что стихотворение «Коммунисты, вперёд...» одно из лучших у Межирова, если не самое лучшее. Во всяком случае, входит во все антологии, несмотря на веяния времени. Сильное стихотворение.

А вот Николай Тряпкин... это нечто совершенно иное... это – сказка! Лично с ним я познакомился незадолго до его ухода, но даже и одного этого раза хватило, чтобы почувствовать всем своим существом, какой сказочный кладёзь таился в его кристально чистой душе...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.